

# Владимир Дашкевич: все написанные мною ноты

## Я сжег в тазу

*КоммерсантЪ - daily. - 1997. - 16 авг. - с. 9*

**В 50-е годы ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ был студентом, работал на заводе, увлекался парашютным спортом, начал писать музыку. Самое сильное впечатление было связано у него со смертью Сталина. «Я испытал колоссальное освобождение и понял: теперь жизнь будет совсем другой», — вспоминает композитор.**

Самым главным событием в начале 50-х годов стала смерть Сталина в марте 1953 года. Я до сих пор вспоминаю совершенно необъяснимую радость, которую испытывал целый день, когда услышал это известие. У нас в семье редко говорили о политике. Напротив, в Институте тонкой химической технологии, где я учился, преподавательница плакала, говорила: «Сталин — гений. Как же мы теперь будем без него?» Многие студенты тоже испытывали что-то подобное. У меня же все было наоборот.

Я твердо решил попасть на похороны Сталина, несмотря на то, что представлял, какое там будет столпотворение. И я придумал такой путь: пошел к Колонному залу не со стороны Трубной, где и произошла та страшная кровавая мясорубка, а переулками — по улице Неждановой, через Камергерский, мимо МХАТа. Там стояли машины, но под ними можно было проползти. Я, когда полз, порвал себе пальто. Но все-таки вышел на Пушкинскую улицу и появился в потоке уже метров за 300 до входа в Колонный зал. Я был достаточно близко, и мне удалось взглянуть на лицо тирана. И я помню, что далеко не все, кто был на похоронах, находились в подавленном состоянии.

Вскоре после смерти Сталина, в 1955 году, вернулся из ссылки мой отец. Реабилитацию он получил чуть позже. Как говорилось в лагерном быту, он пришел доходягой. У него почти не работали ноги, болело сердце, он был истощен. И первые годы почти не выходил из больницы. Там его поставил на ноги его большой друг Алим Матвеевич Дашира, замечательный доктор, родственник семьи Капицы. Кстати, благодаря этой семье отец получил возможность переводить книги. Он перевел первую книгу Жака-Ива Кусто об акавангах. В политические дискуссии отец вступал редко. Единственное, у него происходили иногда политические баталии с братом мамы и его другом Борисом Шнерсоном. Дядя Боря был старым большевиком и страшным ортодоксом. Хотя я думаю, что он многое уже понял к тому времени, но ему трудно было примириться с мыслью, что его взгляды потеряли крах.

А отец резко переоценил свое участие в революции. Вернувшись из ссылки, он не стал восстанавливаться в партии. Несмотря на то, что мы могли получить квартиру и улучшить свое материальное положение, если бы он восстановился. Тогда многие восстанавливались в партии из-за этого... Воспоминания о лагере были очень тяжелыми, и он часто срывался, выпивал. Когда мы получили его «дело», мы увидели, в чем он обвинялся: якобы он должен был собрать крестьян в районе Тамбова, вооружить их кольями и повести на Москву. Мы подумали тогда, что фантазия следователей была, видимо, истощена.

Когда я закончил школу в 1950 году, выбор института у меня был небольшой: отец был репрессирован, мама — еврейка. Поэтому я поступил в Институт тонкой химической технологии на Малой Пироговке. Это хороший институт, но, конечно, не МГУ, куда меня не приняли бы. Когда я учился на третьем курсе, соседи Савостьяновы попросили переставить в нашу

комнату пианино. Потому что их дочка собиралась выйти замуж, а у них было и так тесно. Пианино перенесли, и жизнь в моем лице устроила отцу еще одну пытку: я как сел за него, так все на свете и забыл. Ноты я уже знал, все мои навыки быстро вернулись. Я научился читать с листа и стал записывать музыку, которая всегда была у меня в голове. Насочинял ее в большом количестве. И, естественно, меня стали выгонять из института, потому что я совсем забросил учебу. Отец провел со мной поучительную беседу, пошел к ректору, и меня условно восстановили. Но выполняя свое обещание учиться, я собрал все ноты, которые уже написал, и решил их сжечь. Однако в условиях коммунальной квартиры, да еще расположенной напротив пожарной охраны, это делать оказалось рискованно. Я бросил ноты в тазик и поджег их. И когда пламя разгорелось, мне пришлось полить их водой из чайника. Повалил дым. Все во дворе забежали. Слава Богу, наша комната выходила не на пожарную охрану, поэтому пожарные не ворвались к нам. Так закончился мой первый опыт сочинения музыки.

Когда я закончил институт, меня послали на сборы. И я вернулся оттуда, полный захваченных на складе трофеев: у меня были взрывпакеты, дымовые шашки, хлорпикриновые гранаты. Я мог отравить этим полрайона! А перед новым 1956 годом мы познакомились с компанией, в которой была дочь Льва Ошанина — Таня. Мы вместе с этой компанией встречали Новый год в квартире Ошаниных и дарили подарки друг другу. И я ничего лучше не придумал, как взял старую гитару, просверлил в ней дырку и засунул туда взрывпакет, а фитилек вытащил наружу. И написал стишок, в котором посоветовал поджечь фитилек. Что и было сделано. Эффект был невероятный — гитара с треском развалилась, струны повисли на люстре, а вся квартира окуталась пороховым дымом. Ошаниным пришлось делать ремонт, и больше нас в эту квартиру не пускали. После этого моя мама взяла все мои трофеи и выкинула их. И правильно сделала, потому что планов на них у меня было очень много.

По окончании института я пошел работать на резиновый завод и поступил в семинар самостоятельных композиторов при Московском союзе композиторов в класс Николая Каретникова. Это был человек богатой культуры, и я быстро стал впитывать новые музыкальные идеи, которые тогда появились в музыке. Мы слушали сочинения Шенберга, Берга, Веберна, Стравинского. Все это создавало совершенно новую музыкальную ориентацию. А теорию музыки у меня преподавал еще один легендарный человек — Филипп Гершкович. Он был учеником Берга и редактировал его собрание сочинений. Он сыграл большую роль и в судьбе Шнитке, Губайдулиной и фактически был отцом целой музыкальной оппозиции. Я думаю, что двух таких музыкальных величин, как Каретников и Гершкович, мне не могла бы предоставить ни одна консерватория мира, а я нашел их всего лишь в семинаре самостоятельных композиторов, куда приходили люди с улицы.

Но все это время я продолжал работать на резиновом заводе. Я был мастером резинового цеха. Работали мы в три смены. Ездить на завод было далеко, и я в метро, и в трамвае все время записывал музыку. В то же время я увлекался парашютным спортом, и после работы я ездил на аэродром с Аликом Романовым и Львом Березовым, моими друзьями. И в это же время у меня был роман с девушкой, ко-



**В 1955 году отец Владимира Дашкевича вернулся в Москву**



**На даче: Лев Березов, его жена и Владимир Дашкевич**

торую я встретил в троллейбусе. Это были 1955–1956 годы. Значит, жизнь у меня складывалась так: утром после работы я ехал на Тайнинскую, на аэродром, там прыгал с парашютом, оттуда ехал на станцию Лось, где жила моя девушка, потом ехал заниматься музыкой, а ночью шел в ночную смену на завод. Такая жизнь могла продолжаться несколько дней подряд.

В 50-е годы жить стало легче. К маминной зарплате и отцовской пенсии прибавилось мое жалованье. Сначала я получал 88 рублей, потом стал получать 105, а когда стал старшим инженером резинового цеха, получал уже 120 рублей.

Через три года после института Николай Каретников сказал мне, что мне надо учиться и становиться профессиональным композитором. И в 1959 году я поступил в институт Гнесиных. Но это уже другая история.